

Под праздник.

Ночью я шел полем.

На востоке, вдали над деревней висела синяя туча, в поле голубел снег.

На высоких заносах над ручьем лежали бледные пятна, особенно ярко сиявшие.

Обернувшись, я взглянул на запад. Весь запад горел зеленовато-молочным светом догоравшей зари.

Передо мной в мутно-синей туче желтело крупное пятно месяца; он спешно подымался, и не успел я пройти половины поля, как месяц, весь золотистый, но туманный, освободился от тучи – туча все больше и больше таяла и золотилась, покоряясь властному сиянию месяца.

Перелески, кое-где жидкие ветки голых кустов изредка пятнали голубую снежную равнину.

В церкви, сзади меня рисовавшейся тусклым силуэтом, ударили в колокол – раз, два, три – и начался мирный, неясный звон. И вспомнил я – сегодня сочельник!

Запад потускнел и не сеял по снежным гребням бледно-зеленого света...

Как сказочно, странно меняются краски.

Едва прошёл я гумна, заслонявшие горизонт, месяц из золотого стал платиново-бледным, а кругом него переливались зеленые звёзды!..

У ворот в деревню меня окликнула жена знакомого охотника:

- Эй, зайди-тко! Наши-то зайцев дерут!

Скользя подмёрзшими сапогами по полу, я вошёл. В избе над столом горела дешёвая лампа, подвешенная на ремнях к потолку; стены избы хмуры, от инея белы окна. Недалеко от лампы был подвешен заяц, а сам хозяин, хромой, сутулый шутник, осторожно обдирал с зайца шкуру.

На лежанке оттаивали ещё двух беляков. По лавкам, покуривая и время от времени озаряя темные лица вспышкой сигарки, сидели мужики. Они казались судьями, присутствующими при каком-то большом и важном деле. Молчали все – только хозяин балагурил.

— Эх, суседи! Да кабы у этого зверя шкура была крепкая – цены бы ей не было... Раз, братцы, заяц-от удумал топиться – шёл бедный, да горевал: «Нету-ти ни зверя, ни птицы, которых бы я не боялся; только меня не боится никто, жить на свете страшно». Но тут вдруг что-то в воду булькнуло! Глядит заяц, а лягуха испугалась его... Обрадовался зверь – есть же на свете ещё меня трусливее! – и передумал топиться.

Подходя к своей избе, ещё раз я увидел месяц – он стоял над снежными полянами ослепительно белый и торжественный – на снегу горели зеленовато-голубые искры, искрились, не освещенные огнем лампы окна сонных изб. Звёзды горели крупные. Густо голубели тени, упавшие поперёк улицы. Вдали за полянами мутно делилась от бледного неба линия хмурого леса. Звонче скрипел снег под ногами – чувствовалось, что вот-вот от леса, с белых и мёртвых равнин, подберётся крепкий рождественский мороз. В

душной, теплой тишине избы я сел на лавку, всю забросанную лунными полосами из окон и похожую на верстовой столб.

На печи спит знакомая старуха. Где-то близко часы отбивают неизменное: ти-та! ти-та! Я зажег свечу и вышел во двор. Из загородки на мой огонь упорно глядел, не мигая, рыжий жеребёнок; мороз из инея приделал ему седые, пушистые бакенбарды.

Одна моя собака, ласковая и хитрая, зашевелилась в сене и, потягиваясь, вышла на свет. «Иди спать! Не пуцу в избу!» – сказал я строго и слышал, как она, лениво шурша сеном, зевая, завизжала сонно.

«Рождество!» – какие старые слова – до меня говорили их люди столетиями и после меня долго будут говорить и славить: «Рождество Твое!...».

Мороз трещит в стенах избы. В избе от жарко натопленной печи трещит сохнувшее дерево. Должно быть, за полночь – уж в дальнем конце деревни нищие славят, выпрашивая ржаные каравашки.